

БЕРДЯЕВ О ДОСТОЕВСКОМ: ТЕОДИЦЕЯ И СВОБОДА

В.К. КАНТОР

Одна из самых известных фраз Достоевского (из письма к брату 1839 г.): «Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время, я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком». Но и для Бердяева, по резонной констатации П.П. Гайденко, центром его философского интереса всегда был и оставался человек: его свобода, его судьба, смысл и цель его существования. Близость мировоззрений Бердяева и Достоевского настолько очевидна – в страстности, в неприятии тоталитарного и массового психоза несвободы, в попытке увидеть трансцендентную реальность за приметами земного бытия – что уже сама эта близость становится загадкой, ибо она была не подражанием, не повтором, а внутренним проникновением в ту же проблематику человеческого бытия, которой был одержим Достоевский.

Бердяев писал: «В романах Достоевского нет ничего, кроме человека и человеческих отношений. Это должно быть ясно для всякого, кто вчитывался в эти захватывающие дух антропологические трактаты. Все герои Достоевского только и делают, что ходят друг к другу, разговаривают друг с другом, вовлекаются в притягивающую бездну трагических человеческих судеб. «Единственное серьезное жизненное дело героев романов Достоевского есть их взаимоотношения, их страстные притяжения и отталкивания. Никакого другого “дела”, никакого другого жизненного строительства в этом огромном и бесконечно разнообразном человеческом царстве найти нельзя. Всегда образуется какой-нибудь человеческий центр, какая-нибудь центральная человеческая страсть, и все вращается, кружится вокруг этой оси. Образуется вихрь страстных человеческих соотношений, и в этот вихрь вовлекаются все, все в исступлении каком-то вертятся. Вихрь страстной, огненной человеческой природы влечет в таинственную, загадочную, бездонную глубину этой природы. Там раскрывает Достоевский человеческую бесконечность, бездонность человеческой природы. Но и в самой глубине, на самом дне, в бездне остается человек, не исчезает его образ и лик»¹.

Бердяев не раз отмечал, и справедливо, что он наследует традицию славянофилов и западников, Чаадаева и Хомякова, Герцена и Белинского, даже Бакунина и Чернышевского, несмотря на различие миросозерцаний, и, более всего – Достоевского и Л. Толстого, Вл. Соловьева и Н. Федорова. И при этом он подчеркивал, что, несмотря на присутствие западного элемента в основах его личности, он чувствовал себя принадлежащим к русской интеллигенции, искавшей

правду: «Я русский мыслитель и писатель. И мой универсализм, моя вражда к национализму русская черта»². Поразительно при этом, что ориентированная националистически в эту эпоху Европа признавала именно в Бердяеве голос России и православия. После смерти мыслителя Лев Шестов констатировал, что Бердяев является, несомненно, первым из русских мыслителей, умевших заставить себя слушать не только у себя на родине, но и в Европе. Его сочинения переведены на многие языки и везде встречали к себе самое сочувственное, даже восторженное отношение. Соотечественники, признавая значение Бердяева, постоянно подчеркивали, что отнюдь не Бердяев выразитель русского духа, тем более – русского православия, и лишь смерть философа, бунтовавшего против всех коллективных и социально жестких структур, включая и эмигрантское православие (об этом позже), примирила с ним, показав истинное значение умершего. Г.П. Федотов, которого в 30-е гг. Бердяев едва ли не в одиночку защитил от совершавших на него нападки православных идеологов, писал: «Запад, конечно, ошибается, считая Бердяева типичным выразителем русского православия. Бердяева самого беспокоило это давнее недоразумение. Но мы преступно несправедливы, игнорируя большого русского мыслителя, писавшего не школьные книги, не академические исследования, но страницы, полные жизненного (по-модному, экзистенциального) смысла, обращенные к каждому»³.

Так некогда ругали Достоевского, что мир его романов и статей фантастический, не отражающий картины русской действительности, в отличие от писателей типа Тургенева, Льва Толстого, Гончарова. Достоевский действительно не отражал быт, он выражал смысл русского миропонимания, которое было не узко национальным (как, скажем, у Льва Толстого), а «всечеловеческим», как у Пушкина, ибо опирался Бердяев на европейскую мысль (даже полемизируя с ней), на Канта и Гегеля, на Шекспира, Гофмана, Бальзака. И сквозь все перепады его судьбы, сквозь срывы и взлеты – Бердяев провел Достоевский, который стал камертоном его творчества. Сам он полагал, что именно Достоевский – тот самый существенный водораздел, с которого началась новая русская философия. Стоит отметить одно соображение Бердяева: «Наша духовная и умственная история XIX в. разделяется явлением Достоевского. Явление Достоевского означало, что в России родились новые души. Между славянофилами и идеалистами 40-х годов и духовными течениями начала XX в. лежит духовный переворот – творчество Достоевского»⁴. Как писали многие, в том числе и западные мыслители, «в конечном итоге действия героев Достоевского определяются религиозными силами и мотивами, под влиянием которых и принимаются те или иные решения. Более того: весь мир Достоевского как “мир”, т.е. совокупность определенных фактов и ценностей, вся атмосфера этого мира проистекают в сущности из

религиозного начала»⁵. Стоит также отметить, что анализ Бердяевым творчества Достоевского наиболее репрезентативен для понимания философской установки самого Бердяева. Свою книгу о Достоевском он начал словами: «Я написал книгу, в которой не только пытался раскрыть мирозерцание Достоевского, но и вложил очень многое от моего собственного мирозерцания»⁶. Это весьма важное признание. Опять же стоит сослаться на Федотова: «Основная жизненная интуиция Бердяева — острое ощущение царящего в мире зла. В этой интуиции он продолжает традицию Достоевского (Ивана Карамазова), но также и русской революционной интеллигенции, с которой он столько копий переломал в первые годы своего идеалистического исповедания (период «Вех»). Борьба со злом, революционно-рыцарская установка по отношению к миру отличает Бердяева от многих мыслителей русского православного возрождения»⁷.

И вправду, Бердяев постоянно говорил, что Россия не знала рыцарского начала, начала личности. Говоря о своих истоках, он помнил, что со стороны отца — он потомок героических русских офицеров, со стороны матери — имел французские корни. Именно это рыцарски-личностное начало он реализовал в своем поведении. Но здесь надо понимать, что такое для Бердяева личность, которая несет на себе всю тяжесть понимания мироздания. В русской эмигрантской мысли это понимание личности Бердяевым было проговорено не раз. Смысл его заключается в том, что личность, как полагал Бердяев, радикально отличается от индивидуальности как своеобразная, неповторимая комбинация черт. Индивидуальность, или особь принадлежит природному миру и разделяет с ним рабство и смертность. Эту мысль в своей работе о Бердяеве подхватила Пиам Гайденко, хорошо вписав ее в культурфилософский контекст, связав с понятием свободы: «Понятие личности отличается у Бердяева от понятия эмпирического человеческого существа, которое составляет, с одной стороны, часть природы, а с другой — элемент социального целого. Эмпирически существующий человек, взятый с природной своей стороны, как наделенный определенной телесно-душевной организацией, есть, по Бердяеву, *не личность, а индивидуум*. В качестве последнего он имеет и свои социально-культурные особенности, отличающие его от других индивидов, принадлежащих другим общественным организмам. Индивидуум, таким образом, детерминирован как обществом, так и природой и составляет, по словам Бердяева, частицу универсума. Поскольку, таким образом, индивидуум подчинен природным и социальным законам, он является предметом изучения специальных наук — биологии, психологии, социологии. Что же касается личности, то она, согласно Бердяеву, есть реальность духовная, а потому «никакой закон к ней неприменим». Ее нельзя поэтому превратить в объект научного исследования — вот тезис, роднящий экзистенциальную

философию Бердяева с учениями о человеке Киркегора, Ясперса, Хайдеггера, Сартра. Главной характеристикой личности является ее *свобода*: личность, по Бердяеву, не просто *обладает свободой*, она и *есть* сама свобода»⁸.

Бердяев сам иронизировал в «Самопознании», что его называют философом свободы, даже кто-то — парадоксальный оксюморон — «пленником свободы». Но тема свободы и в самом деле была не просто академической темой научных штудий. Эта тема была выражением его сущностной основы, его экзистенции, что он отчетливо формулировал: «Я всегда был ничьим человеком, был лишь своим собственным человеком, человеком своей идеи, своего призвания, своего искания истины... Я совсем не поддаюсь коллективной заразе, хотя бы хорошей. Мне совсем неведомо слияние с коллективом. В экстаз меня приводит не бытие, а свобода»⁹.

Именно эту жажду свободы он увидел у Достоевского. Строго говоря, практически не было ни одного мыслителя в последние два-три столетия, который не говорил бы о необходимости свободы. Гегель даже говорил, что «всемирная история есть прогресс в сознании свободы, — прогресс, который мы должны познать в его необходимости»¹⁰. Но, пожалуй, только Достоевский увидел трагедию свободы в становлении личности и в ее бытии в истории. По Бердяеву, парадокс Достоевского состоит в том, что человек свободен по божественному замыслу, но что свобода эта трагична, возлагает бремя и страдание. Человеческая душа предстала пред писателем в момент своей богооставленности, и этот опыт оказался невероятным религиозным опытом, в котором после погружения в тьму загорается новый свет. И потому старцы Оптиной пустыни не признали его своим, прочитав книгу «Братья Карамазовы». Достоевский пытался открыть, по мнению Бердяева, путь к Христу через беспредельную свободу. А свобода может привести и к злу. Что же можно противопоставить злу свободы? Это и был главный вопрос Бердяева, это проблема его теодицеи. Он же понимал, что «история не шадит человеческой личности и даже не замечает ее»¹¹. Гегеля он тут не принимал, не верил в свободу как результат исторического процесса.

Стоит, однако, подчеркнуть его личную позицию, позицию «рыцаря свободы», как его называли. Несмотря на гениальное самоназвание «ничей человек», на утверждение, что он не примыкал ни к каким группам, что ему неведомо слияние с коллективом (и тут он не погрешил несколько против истины), но при этом он был поразительно общественным человеком. Более того, он был ориентиром, на который, споря с ним, не принимая его, тем не менее, смотрели разные люди, представители разных идейных течений. Такое было у него свойство — быть в центре общественного внимания. В своей «Истории русской философии» Н.О. Лосский назвал Бердяева «наиболее

известным из современных русских философов»¹². Это, в сущности, было общее мнение.

А, может, и, думаю, это правда, такое внимание к нему было потому, что он был ничей человек, был независимый, шел туда, где именно, как ему казалось, находится истина. Начав свою идейно-общественную жизнь как марксист, вступив в полемику с еще недавно очень нравившимся ему Михайловским, он одним из первых повернул к религиозной и идеалистической философии. Но так сложилась русская мысль, что с ним рядом оказались и другие русские, независимо мыслившие философы — Булгаков, Струве, Франк. Он испытал еще юношей изгнание из университета, трехлетнюю ссылку на Вологодчину, злые шутки друзей и врагов о своих книгах типа «белибердяевщина». Поразительно, что он почти всю свою жизнь не испытывал иллюзий. Как он заметил о своем революционном опыте: «Желая принять какое-либо участие в освободительном движении, я примкнул к Союзу освобождения. С инициаторами Союза освобождения у меня были идейные и личные связи. Я принял участие в двух съездах за границей в 1903 и 1904 годах, на которых был конструирован Союз освобождения. Съезды происходили в Шварцвальде и в Шафгаузене, около Рейнского водопада. Красивая природа меня более привлекала, чем содержание съездов. Там я впервые встретился с либеральными земскими кругами. Многие из этих людей впоследствии играли роль в качестве оппозиции в Государственной думе и вошли в состав Временного правительства 1917 года. Среди них были очень достойные люди, но среда эта была мне чужда»¹³. Но именно он одним из первых согласился на предложение Гершензона об участии в сборнике «Вехи» и написал поразительную статью «Философская истина и интеллигентская правда», которая открыла сборник. В ней он говорил о необходимости преодолеть «внешние силы». Это была его основная позиция — объективный мир противоречит человеческой и философской свободе.

Даже к Февральской революции, с восторгом принятой многими писателями и философами, вроде бы близкими ему, тоже являвшимися поклонниками Достоевского, он отнесся не просто иронически, а с большой тревогой. Как вспоминала его свояченица Евгения Юдифовна Рапп, он знал, что бескровная революция (как именовали Февраль) кончится большой кровью, говорил о злой стихии революции, за что его считали реакционером. А когда восторженный и сервильный поэт и философ Андрей Белый начал громко восхвалять Керенского, применяя к нему слова о Христе: «Это че-ло-век», — Бердяев расхохотался, чем навсегда обидел Белого, который в результате, видимо, неслучайно посвятил свое позднее творчество обличению русского идеализма и воспеванию ленинской диалектики. Зато Бердяев большевизм не принял категорически, увидев в нем понижение антропологического

уровня России и Европы. В стихии большевистской революции, писал он, «появился новый антропологический тип, в котором уже не было доброты, расплывчатости, некоторой неопределенности очертаний прежних русских лиц. Это были лица гладко выбритые, жесткие по своему выражению, наступательные и активные. Ни малейшего сходства с лицами старой русской интеллигенции, готовившей революцию. Новый антропологический тип вышел из войны, которая и дала большевистские кадры. Это тип столь же милитаризованный, как и тип фашистский. Об этом я не раз писал. Слюдьми и народами происходят удивительные метаморфозы. Для меня это был новый и мучительный опыт. Впоследствии такие же метаморфозы произошли в Германии и они, вероятно, произойдут во Франции»¹⁴.

Более того, поняв, что русская революция отнеслась с черной неблагодарностью к русской интеллигенции, принявшись за ее уничтожение, он — ничей человек — ненавидевший любую коллективность, попытался спасти тех, в ком еще теплился дух личностной свободы, организовав Вольную академию духовной культуры, просуществовавшую три года (с 1919 по 1922). Скажем, как сам он признавал, он порвал отношения со старыми друзьями — Вяч. Ивановым и М. Гершензоном, увидев в их поведении приспособление и соглашательство. Любопытно при этом его значение в глазах большевиков, которые выделили двенадцать человек, дав им в голодные годы так называемый академический паек. Одним из этих «двенадцати бессмертных» был Бердяев. Но он не покупался и не продавался. В 1920 г. его первый раз арестовали, допрашивал его лично Дзержинский. Бердяев вспоминал: «С левой стороны, около письменного стола, стоял неизвестный мне человек в военной форме, с красной звездой. Это был блондин с жидкой заостренной бородкой, с серыми мутными и меланхолическими глазами; в его внешности и манере было что-то мягкое, чувствовалась благовоспитанность и вежливость. Он попросил меня сесть и сказал: “Меня зовут Дзержинский”. Это имя человека, создавшего Чека, считалось кровавым и приводило в ужас всю Россию. Я был единственным человеком среди многочисленных арестованных, которого допрашивал сам Дзержинский. Мой допрос носил торжественный характер, приехал Каменев присутствовать на допросе, был и заместитель председателя Чека Менжинский, которого я немного знал в прошлом; я встречал его в Петербурге, он был тогда писателем, неудавшимся романистом. Очень выраженной чертой моего характера является то, что в катастрофические и опасные минуты жизни я никогда не чувствую подавленности, не испытываю ни малейшего испуга, наоборот, я испытываю подъем и склонен переходить в наступление. Тут, вероятно, сказывается моя военная кровь. Я решил на допросе не столько защищаться, сколько нападать, переведа весь разговор в идеологическую область. Я сказал Дзержинскому: “Имейте

в виду, что я считаю соответствующим моему достоинству мыслителя и писателя прямо высказать то, что я думаю”. Дзержинский мне ответил: “Мы этого и ждем от Вас”. Тогда я решил начать говорить раньше, чем мне будут задавать вопросы. Я говорил минут сорок пять, прочел целую лекцию. То, что я говорил, носило идеологический характер. Я старался объяснить, по каким религиозным, философским, моральным основаниям я являюсь противником коммунизма»¹⁵. И поэтому, как он полагал, он был выслан из Советской России не по политическим, а по идеологическим причинам. На Западе он тоже занимал абсолютно независимую позицию. Мужественную, еще раз подчеркну любимое Бердяевым слово, — «рыцарскую».

Стоит привести еще одну историю, связанную с Федотовым, которого в 1939 г. в Париже хотели изгнать из Свято-Сергиевского Богословского института известные российские богословы за разногласия его идей с волей Владыки, или, еще точнее, за непослушание¹⁶. А там были и С. Булгаков, и В. Зеньковский, и Г. Флоровский. И все они, как советские люди, которых они вроде бы презирали, выстроились по струнке. В защиту выступили только два человека, из живших в Париже русских религиозных деятелей, — мать Мария и Бердяев. Мать Мария в разгар «федотовского дела» (так она называла эту историю) предлагала создать «общество защиты христианской свободы», а Бердяев, как подлинный «рыцарь свободы», выпустил резкую статью, рассорившую его с правым крылом православной эмиграции, вышедшей даже из состава авторов «Пути». Позднее в своих мемуарах он так описал этот сюжет: «Торжествовало понимание христианства, которое я считал искаженным и приспособленным к дурным человеческим интересам. Я был в непрерывном мучительном конфликте. Этот конфликт достиг для меня особенной остроты в истории с Г.П. Федотовым, которого хотели удалить из Богословского института за статьи в “Новой России”, в которых видели “левый” уклон. Православие официальное утверждало себя как “правое”. Меня давно уже ранил прозаизм, некрасивость, рабье обличье официальной церковности. По поводу истории с Г.П. Федотовым я написал в “Пути” резкую статью “Существует ли в православии свобода совести?”, которая поссорила меня с профессорами Богословского института»¹⁷. Важнее свободы духа он не знал ничего.

А в этой статье он написал такое, что православные иерархи перестали его считать православным. Бердяев произнес яростную филиппику против национализма в жизни, в мысли, в религии: «Нет ничего отвратительнее самого выражения “национально мыслящий”... Мир погибает сейчас от национализма, он захлебнется в крови от “национально мыслящих”. Церковь должна была бы осудить национализм, как ересь жизни... Национализм есть язычество внутри христианства, разгулявшиеся инстинкты крови и расы. Христиане, которые не пре-

дают Христа и Евангелия (большая часть христиан предает), не имеют права быть “национально мыслящими”, они обязаны быть “универсально мыслящими”, быть согласными с евангельской моралью и уж во всяком случае с моралью человеческой»¹⁸. Национализм на тот момент овладел сознанием и европейцев, и даже образованных русских. Не говоря уж о ликованиях черносотенных фанатиков, которых Бердяев на дух не переносил. Напомню историю, записанную Е.Ю. Рапп: «В Париже Н.А. (не помню точно год) снова выступил в защиту евреев. Зал был переполнен. По окончании его доклада какой-то молодой человек начал в грубой и резкой форме возражать Н.А., нападая на евреев и высказывая приблизительно мысли “Протоколов Сионских мудрецов”. Его речь прерывалась бешеными аплодисментами группы его единомышленников. Когда Н.А. начал отвечать ему, его прерывали шиканьем, свистом и криками. Я сидела в первом ряду и видела, как Н.А. вдруг побледнел. Я почувствовала, что его охватил страшный припадок гнева и негодования, при котором я несколько раз присутствовала и в котором была такая сила, что сопротивляться было невозможно. “Немедленно прошу покинуть зал, — раздался его громовый голос, — здесь не чайная русского народа”»¹⁹. Сила его духа и впрямь была такова, что черносотенцы покинули зал. А уже задолго до этого он написал: «В тысячу раз более народом был дворянин Пушкин или интеллигент Достоевский. Самого совершенного и высшего своего выражения нация достигает в гении. Гений всегда народен, национален, в нём всегда слышится голос из недр, из глубин национальной жизни. Дух нации всегда выражается через качественный подбор личностей, через избранные личности»²⁰.

Наступила эпоха восстания масс. Бердяев написал про это множество книг, две из которых стали особенно знамениты — «Новое средневековье» и «Судьба человека в современном мире (к пониманию нашей эпохи)». Он писал: «Обнаружились первореальности, скрытые под покровом цивилизации, реальности оголенные. Окончательно пошатнулась вера в человека, которой еще жил XIX век. Вера в Бога пошатнулась еще раньше. Одно последовало за другим. Пал гуманистический миф о человеке. И под человеком развернулась бездна»²¹. Но кто провидел эту бездну? Бердяев вспомнил Тютчева и Достоевского. Но Тютчев прозревал хаос, прежде всего, в природе, а тут хаос зашевелился внутри истории. И Бердяев констатирует: «В истории есть процесс рационализации, но есть и сильное иррациональное начало. Захлестнутый хаосом истории, окруженный бушующими иррациональными силами, пораженный историческим фатумом — человек соглашается перейти в сферу нечеловеческого существования, он выталкивается из человеческого существования»²².

Возникает ситуация «Чумы» Камю, когда неведомая сила уничтожает людей, и ее победить нельзя, можно только отдельным из-

бренным людям сопротивляться ей. Масса антиличностна, она, как показал Достоевский в «Великом инквизиторе», не приемлет свободы, поскольку в свободе она доходит до антропофагии. Предвестие этой мысли заключено уже в страшном сне Раскольникова.

Приведу этот отрывок, он есть центр моего текста. От тоски и одиночества в чуждой и страшной среде Раскольников на каторге заболевает. «Он пролежал в больнице весь конец поста и Святую. Уже выздоравливая, он припомнил свои сны, когда еще лежал в жару и бреду». И ему в бреду видятся сны, которые есть как бы продолжение и обобщение страшного сна о бессмысленном убийстве клячи простонародьем. Он видит своего рода восстание масс. Это апокалипсическая картина, а Апокалипсис, как известно, был одним из любимых текстов Достоевского. Это не идейные убийства, а моровое поветрие безумия: «Ему грезилось в болезни, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслышанной и невиданной моровой язвы, идущей из глубины Азии на Европу. Все должны были погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих, избранных. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей». Эти трихины очень напоминают грядущих фюреров, одаренных умом и волей, которые стравливали народы, как бы дьявольская пляска чумы, о которой потом напишет Камю. Но и здесь Раскольникова не оставляет евангельская надежда на немногих избранных, которые в состоянии не поддаться массовому психозу. «Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем в одном и заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но армии, уже в походе, вдруг начинали сами терзать себя, ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга. В городах целый день били в набат: созывали всех, но кто и для чего зовет, никто не знал того, а все были в тревоге. Оставили самые обыкновенные ремесла, потому что всякий предлагал свои мысли, свои поправки, и не могли согласиться; остановилось земледелие. Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались вместе на что-нибудь, клялись не расставаться, — но тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же сами предпо-

лагали, начинали обвинять друг друга, дрались и резались. Начались пожары, начался голод. Все и всё погибало. Язва росла и подвигалась дальше и дальше». Все их движения напоминают метания обычной человеческой толпы. Язва — это не идея, а нечто другое. Чума, холера, пир во время чумы. Это не действия идеологов: «Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали». Какой же выход? Как и в своей статье, столько раз обруганной всеми советскими и российскими исследователями, он видит противодействие массовому безумию в независимых личностях, в избранных: «Спаستись во всем мире могли только несколько человек, это были чистые и избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю, но никто и нигде не видал этих людей, никто не слышал их слова и голоса». Это абсолютно христианская позиция, ибо, как сказано в Евангелии, «мало избранных». Потом в «Краткой повести об антихристе» именно в избранных, в единицах, увидит Владимир Соловьев шанс на противостояние антихристу. Но у наших исследователей что-то вроде затмения.

Вот как, скажем, Карякин объясняет картину апокалипсиса в Эпиплоге: «И не слышится ли в этой адовой музыке, в этом перезвоне набата звучание “струны” в душе юноши, замышлявшего свою “статью” с энтузиазмом подавленным и опасным? Не видятся ли среди копошащихся в свалке миллионов и Раскольниковы со “статьей” в одной руке и с топором в другой? И каждый убивает свою процентщицу, свою Лизавету, свою мать. Каждый пробивается в “высший” разряд, загоняя других в “низший”...»²³ Идея, брошенная в массы, перестает быть идеей, т.е. произведением ума личности. Массы поэтому не знают любви, как они не знают идей, особенно массы, организованные тоталитарными фюрерами, трихинами. И во сне Раскольникова, как мы видели не битва личностей, а безумие саранчи, с которой Мережковский отождествлял нацистов, утверждая, что нельзя говорить об идеях нацистских толп, можно говорить лишь о температуре стаи.

Бердяев здесь на стороне Раскольникова: «Опыт русской революции подтверждал мою давнюю уже мысль о том, что свобода не демократична, а аристократична. Свобода не интересна и не нужна восставшим массам, они не могут вынести бремени свободы. Это глубоко понимал Достоевский. Фашистские движения на Западе подтверждали эту мысль, они стоят под знаком Великого Инквизитора — отказ от свободы духа во имя хлеба. В русском коммунизме воля к могуществу оказалась сильнее воли к свободе»²⁴. А для Бердяева, как он всегда утверждал, идея свободы первичнее идеи совершенства. Но можно ли оправдать Бога на фоне массовых злодеяний? Проблема, которую поставила после войны западная теология. Попробую выдвинуть основной тезис своего текста. **У Бердяева теодицея только для личностей. Массы находятся вне божественных законов и божествен-**

ной благодати. Так он почувствовал мир (может, через Достоевского). Массы боятся свободы. А свобода — это дар Божий. В восстании масс — эрзац-свобода.

Бердяев писал: «Масса вообще очень легко поддается внушению и приходит в состояние коллективной одержимости. Массы бывают одержимыми лишь идеями, которые допускают простую и элементарную символику. Сильный, характерный для нашего времени. Искание вождя, который поведет за собой массы и даст избавление, разрешит все вопросы, означает, что все классические авторитеты власти, авторитеты монархий и демократий пали и необходима замена их новыми авторитетами, порожденными коллективной одержимостью масс»²⁵. Эта коллективная одержимость не давала возможности человеку искать Бога, тем самым зло не могло быть преодолено свободой, ибо зло преодолевает личность. Проблему он обозначил так: Достоевский показывал, что безграничная свобода личности приводит к безграничному деспотизму, т.е. абсолютному общественному злу. Но дело в том, что здесь происходит некая словесно-идейная подмена, понятие свободы в ее безграничности по сути дела оказывается своеволием, произволом, который прямо противоположен свободе. Это ситуация вождизма, массовых движений, где нет личного искушения, нет и личного искупления греха. В массовых гекатомбах понятие греха, разумеется, отсутствует, существует приказ вождя.

Повторю: теодицея и антроподицея, которую Бердяев находит у Достоевского, применима только к личности: «Бунт, начавшийся с безграничной свободы, неизбежно приходит к безграничной власти необходимости в мышлении и безграничному деспотизму в жизни. Так пишет Достоевский свою изумительную теодицею, которая есть также и антроподицея. Есть одно только вековечное возражение против Бога — существование зла в мире. Эта тема является для Достоевского основной. И все творчество его есть ответ на это возражение. И я бы так парадоксально формулировал этот ответ. *Бог именно потому и есть, что есть зло и страдание в мире, существование зла есть доказательство бытия Божьего. Если бы мир был исключительно добрым и благим, то Бог был бы не нужен, то мир был бы уже богом. Бог есть потому, что есть зло. Это значит, что Бог есть потому, что есть свобода.* И Достоевский доказывает бытие Божье через свободу, свободу человеческого духа. Те, которые отрицают у него свободу духа, отрицают и Бога, и наоборот. Мир принудительно добрый и благой, мир гармонический в силу неотвратимой необходимости был бы безбожный мир, был бы рациональный механизм. И те, которые отвергают Бога и свободу человеческого духа, стремятся к превращению мира в такой рациональный механизм, в такую принудительную гармонию»²⁶.

Позже он понял, что дело в хаосе и произволе, не в рациональном механизме, а в превращении злодейского хаоса в застывший ужас. Он

неслучайно много рассуждал о понятиях «страх» и «ужас» у Кьеркегора и Хайдеггера. Приведу его высказывание: «Я борюсь за свободу, но я не хочу свободы для себя, чтобы не подумали, что я борюсь из корыстных целей». «Тень легла на мир. Начался цикл исторических и космических катастроф и обвалов»²⁷. Этот мир уже не знает теодицеи и свободы. В книге «Судьба человека в современном мире (к пониманию нашей эпохи)» он увидел, как иррациональность, хаос ведут к тоталитаризму и страшны для свободы, более того, порой надевают маску рации: «Хаос может иметь обличье совершенной внешней организованности»²⁸. Но хаос — зло изначальное, первобытное, а потому не дающее никакой свободы. Это даже не зло, а какой-то доисторический ужас, которого так боялись Кафка и Хайдеггер. Ничто, которое вдруг увидел человек вместо Бытия. Об этом слова позднего Хайдеггера, подводящие своеобразный итог его построениям: «Мировая ночь распространяет свой мрак. Эта мировая эпоха определена тем, что остается вовне Бог, определена “нетостью Бога”... Нетость Бога означает, что нет более видимого Бога, который неопровержимо собрал бы к себе и вокруг себя людей и вещи и изнутри такого собрания сложил бы и мировую историю, и человеческое местопребывание в ней»²⁹. Такое состояние мира уже за пределами человеческой истории. Это то, что угадал Достоевский. И то, что увидел Бердяев.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Бердяев Н.А. Откровение о человеке в творчестве Достоевского // Бердяев Н.А. О русских классиках. — М.: Высшая школа, 1993. С. 57.

² Бердяев Н.А. Самопознание. — М.: Книга, 1991. С. 11.

³ Федотов Г.П. Н.А. Бердяев — мыслитель // Федотов Г.П. Собр. соч. В 12 т. Т. 9. — М.: Мартис, Sam&Sam, 2004. С. 278.

⁴ Бердяев Н.А. Мирозерцание Достоевского // Бердяев Н.А. О русских классиках. — М.: Высшая школа, 1993. С. 215.

⁵ Гвардини Р. Религиозные образы в творчестве Достоевского // Культурология. Дайджест. 2007. № 1 (40). — М.: ИНИОН РАН, 2007. С. 129.

⁶ Бердяев Н.А. Мирозерцание Достоевского. С. 107.

⁷ Федотов Г.П. Н.А. Бердяев — мыслитель. С. 279.

⁸ Гайденко П.П. Владимир Соловьев и философия Серебряного века. — М.: Прогресс-Традиция. 2001. С. 302 — 303.

⁹ Бердяев Н.А. Самопознание. — М.: Книга, 1991. С. 47.

¹⁰ Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории. — СПб.: Наука, 2005. С. 72.

¹¹ Бердяев Н.А. Самопознание. С. 9.

¹² Лосский Н.О. История русской философии. — М.: Советский писатель, 1991. С. 268.

¹³ Бердяев Н.А. Самопознание. С. 133.

¹⁴ Там же. С. 230.

¹⁵ Там же. С. 239.

¹⁶ См. об этом мою статью: Философия национальной самокритики (письмо С.Л. Франка Г.П. Федотову) // Вопросы философии. 2006. № 3. С. 132 — 143.

- ¹⁷ Бердяев Н.А. Самопознание. С. 287.
- ¹⁸ Бердяев Н.А. Существует ли в православии свобода мысли и совести? // Путь. 1939. № 59. С. 48.
- ¹⁹ Рапп Е.Ю. Мои воспоминания // Бердяев Н.А. Самопознание. – М.: Книга, 1991. С. 380.
- ²⁰ Бердяев Н.А. Философия неравенства. – М.: ИМА-ПРЕСС, 1990. С. 101.
- ²¹ Бердяев Н.А. Судьба человека в современном мире (к пониманию нашей эпохи) // Бердяев Н.А. Дух и реальность. – М.: АСТ; Фолио, 2006. С. 163.
- ²² Там же. С. 164 – 165.
- ²³ Карякин Ю. Самообман Раскольникова // Карякин Ю. Достоевский и канун XXI века. – М.: Советский писатель, 1989. С. 35.
- ²⁴ Бердяев Н.А. Самопознание. С. 231.
- ²⁵ Бердяев Н.А. Судьба человека в современном мире. // Бердяев Н.А. Дух и реальность. – М.: АСТ; Фолио, 2006. С. 165 – 166.
- ²⁶ Бердяев Н.А. Мирозерцание Достоевского. С. 147 – 148.
- ²⁷ Бердяев Н.А. Судьба человека в современном мире. С. 167.
- ²⁸ Там же. С. 165.
- ²⁹ Heidegger M. Wozu Dichter? // Heidegger M. Holzwege / пер. Ал.В. Михайлова. – Frankfurt am Main, 1950. S. 265.

Аннотация

Автор рассматривает одну из ключевых проблем философской мысли, в том числе и российской, – проблему теодицеи и свободы. Первым поставил в России эту проблему Достоевский. Анализируя его творчество, Бердяев принимает его позицию, что Бога можно оправдать только через свободу. Но это действие личности, в XX в. массы (в нацизме и большевизме) вышли из поля свободы, а потому и из пространства, где решаются нравственные проблемы.

Ключевые слова: Бердяев, Достоевский, теодицея, зло, свобода, восстание масс.

Summary

The author examines one of the key problems of philosophical thought, including the Russian, – the problem of theodicy and freedom. First staged in Russia this problem sufficiently Dostoevsky. Analyzing his work, Berdyaev takes his position that God can be justified only through freedom. But the action of the person, but in the twentieth century mass (Nazism and Bolshevism) withdrew from the field of freedom, and therefore the space where solve moral problems.

Keywords: Berdyaev, Dostoevsky, theodicy, evil, freedom, revolt of mass.